

На правах рукописи



Казанков Александр Игоревич

**КРЕСТЬЯНСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
В ЭПОХУ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВНИ"
(1929 – 1937 ГГ.) НА ЗАПАДНОМ УРАЛЕ**

Специальность 5.6.1. Отечественная история

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических наук

Челябинск – 2025

Работа выполнена на кафедре культурологии и философии ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры».

Научный консультант – Лейбович Олег Леонидович
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой культурологии
и философии ФГБОУ ВО «Пермский
государственный институт культуры»

Официальные оппоненты: Беглов Алексей Львович
доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Отдела Новой и Новейшей истории
ФГБУН Институт всеобщей истории Российской
академии наук, г. Москва

Красильников Сергей Александрович
доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник сектора истории
социально-экономического развития ФГБУН
Институт истории Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Новосибирск

Фельдман Михаил Аркадьевич
доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры государственного управления
и политических технологий Уральского института
управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»,
г. Екатеринбург

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург

Защита состоится «17» октября 2025 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.437.04 при ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» (по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. Ленина, д. 76, ауд. 1007).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Южно-Уральского государственного университета
<https://www.susu.ru/ru/dissertation/24243704-d-21229813/kazankov-aleksandr-igorevich>

Автореферат разослан « ___ » _____ 2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета М.И. Мирошниченко



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Анализ повседневного опыта деревенских жителей в XX веке представляется необходимым, поскольку позволяет глубже понять противоречивость и многомерность современных модернизационных процессов в нашей стране.

Актуальность изучения крестьянской повседневности определяется, главным образом, внутринаучной ситуацией в современной российской историографии, где отчетливо виден интерес к этой социальной группе (крестьяноведение Т. Шанина и его школы). Не менее заметно оформление истории повседневности в качестве новой, самостоятельной исследовательской программы. Обе эти тенденции проявляются в феномене новой региональной истории.

Дополнительную актуальность заявленной теме придает продолжающийся антропологический поворот в сфере гуманитарных наук, стремление к писанию истории «снизу», от имени «маленького человека», применение приемов микроанализа, часто приводящее к размытию жестких дисциплинарных матриц.

Особенное внимание исследователей, работающих в парадигме истории повседневности, привлекают переломные эпохи, моменты разрыва привычных рутинных практик, инверсии нормального и аномального (Н. Лебина), т.е. периоды масштабных социальных трансформаций. В этом отношении этап «социалистической реконструкции сельского хозяйства» в жизни советской деревни представляет исключительный интерес не только в академических дискуссиях, но и в общественном мнении. В медийной сфере вновь и вновь обсуждаются причины, глубина и последствия распада традиционного уклада жизни российского крестьянства, степень сохранности религиозно-нравственных традиций.

Степень научной изученности истории повседневности рассмотрена в первой главе диссертации. Во введении следует лишь указать на то, что предмет исследования представляет собой один из аспектов проблемы комплексного изучения особого этапа модернизации в России¹. История и историография аграрных преобразований на Урале представлена в работах В.Л. Берсенева, Г.Е. Корнилова, Н.П. Палецких². Социологические

¹ См.: Нефёдов С. А. Уровень жизни населения и аграрное развитие России в 1900—1940 годах. – Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. Нефёдов С. А. К дискуссии об уровне жизни в России в конце XIX – начале XX в. // Вопросы истории. 2022. № 3-1. С. 44 – 50; Опыт российских модернизаций XVIII – XX века. М.: Наука, 2001. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации / отв. ред. В. В. Алексеев. М.: РОССПЭН, 2006; Побережников И.В. Фронтирная модернизация как Российский цивилизационный феномен // Россия реформирующаяся. 2013. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/frontirnaya-modernizatsiya-kak-rossiyskiy-tsivilizatsionnyy-fenomen> (дата обращения: 06.01.2024).

² См. Берсенов, В.Л. Исторические особенности реформирования аграрных отношений в России: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук/ В.Л. Берсенов. – Екатеринбург, 1995; Корнилов Г.Е. Современная российская историография аграрной истории России XX века: региональный аспект / Г.Е. Корнилов // Россия между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития. Мат-лы Всерос. науч. конф., посвящ. 20-летию Института истории и археологии УрО РАН. – Екатеринбург: УрО РАН, 2008. – С. 217 – 223; Палецких

интерпретации крестьянских жизненных миров в первой половине XX века представлены в исследованиях Т.И. Заславской, Л.Н. Мазур, Р.В. Рывкиной, Н.В. Суржиковой³. Репрессивная политика в указанный период освещается в ряде фундаментальных публикаций: «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918 – 1939. Документы и материалы», «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и материалы», «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–38 гг.», публикациях в журнале «Крестьяноведение»⁴.

Данные публикации формируют углубленно проработанный контекст тех специфических процессов, которые будут подвергнуты подробному истолкованию в настоящем исследовании.

Объектом исследования является жизненный мир обитателей сел и деревень Западного Урала. Под жизненным миром в феноменологической традиции понимается горизонт осмысленных действий индивидов в доступных для них интерпретациях. Жизненный мир есть intersubъективная реальность, оставляющая следы в источниках, достаточные для ее дескрипции и интерпретации. В историческом исследовании тот или иной жизненный мир всегда соотнесен с конкретной эпохой, местом и социальным кругом.

Предметом исследования является усвоение (*Aneignung*) крестьянами и крестьянками Прикамья масштабных социальных трансформаций, происходившее в эпоху «социалистической реконструкции деревни» в повседневной ментальности и обыденных практиках. Под ментальностью в диссертации понимаются автоматизмы и «привычки сознания» (А.Я. Гуревич), сформированные историко-культурным *a priori*. Практики трактуются как набор рутинных действий, выполняемых в пределах разученного динамического стереотипа, не нуждающихся в рефлексии.

Хронологические рамки исследования – 1929 – 1937 гг. Преобразования, разорвавшие привычное течение повседневной жизни, начинаются в ноябре-декабре 1929 г. со стартом кампании по сплошной коллективизации сельского хозяйства, но не сводятся к ней. Второй кампанией, завершающей «социалистическую реконструкцию» деревни,

Н. П. Проблемы социальной истории Урала периода Великой Отечественной войны в региональной историографии // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2012. №10 (269). С.32 – 35.

³ См. Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция. М.: Изд-во «Дело», 2002; Мазур Л. Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX – XX в.). Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2012; Рывкина, Р.В. Образ жизни сельского населения/ Р.В. Рывкина. – Новосибирск: Наука, 1979; Суржикова Н. В. Иностранцы военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (1942-1956 гг.) / Н. В. Суржикова. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2006; Суржикова Н.В. Этничность и вера в практиках российского плена 1914 – 1919 годов. По материалам уральского региона//Россия XXI. Выпуск 2011 №5. С. 116 – 139.

⁴ Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918 – 1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1. 1918 – 1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и материалы; Политические репрессии в Прикамье. 1918 – 1980 гг.: Сборник документов и материалов. – Пермь: «Пушка», 2004; «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937 – 38 гг. Пермь: «Пушка», 2006; Красильников С.А. Репрессивное раскрестьянивание в СССР как исследовательская проблема: подходы и поиски новых решений/ Крестьяноведение. 2024. № 1 (Т. 9). С. 6 – 22.

следует признать массовую операцию, инициированную постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1937 г. «Об антисоветских элементах». Эта операция, стартовавшая в августе 1937 г., была призвана полностью очистить деревню от «врагов колхозного строя».

Территориальные рамки исследования совпадают с границами современного Пермского края, в указанный период входившего в состав Уральской, а затем Свердловской области.

Цель исследования: реконструировать процесс усвоения радикальных социальных перемен в повседневной жизни западноуральской деревни в ходе «социалистической реконструкции сельского хозяйства».

Задачи исследования:

- оценить степень изученности проблемы в отечественной и зарубежной историографии;
- адаптировать методологию изучения повседневности для нужд конкретно-исторического исследования и доказать существование релевантной целям исследования источниковой базы;
- реконструировать хронотоп крестьянской повседневности в 30-х годах XX века на Западном Урале;
- зафиксировать базовые структуры повседневной жизни: разделение на своих и чужих, родство и свойство, формы малой публичности (главным образом жизни церковного прихода);
- интерпретировать смысл основных рутинных практик деревенских жителей;
- охарактеризовать типичные сценарии реагирования крестьян и крестьянок на новую социальную организацию деревни (колхоз).

Теоретико-методологической основой диссертации служат выводы феноменологической философии Э. Гуссерля, социологии А. Шюца и концепции повседневности П. Бергера и Т. Лукмана, операционализированные для задач конкретно-исторического исследования. Принципы, процедуры и техники, применяемые автором, представлены в первой главе диссертации.

Источниковую базу исследования составляют, по преимуществу, документы личного происхождения, созданные под принуждением, содержащихся во внутриведомственном делопроизводстве органов ОГПУ-НКВД по Свердловской области. Детальный анализ источников представлен в первой главе диссертации.

Научная новизна работы определяется разработанной автором исследовательской теорией на основе философско-социологической концепции повседневности.

В диссертации последовательно реализован проект писания истории «снизу», позволяющий увидеть изменения уклада повседневной жизни глазами рядового актора.

Процесс коллективизации западноуральской деревни представлен в контексте сформированных конкретно-историческим опытом ментальности и опривыченных практик.

Обосновано существенное влияние религиозных представлений крестьян и крестьянок, церковных людей (в самом широком смысле) на усвоение происходящих социальных перемен.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Адаптация философско-социологической концепции повседневности позволила автору сформулировать следующие принципы ее применения к конкретно-историческому исследованию: редукции, контекстуализации и реконструкции культурно-исторического наследия. Центральной операцией исследования повседневности является привязка аутентичных источников к конкретному времени, месту и социальному кругу, т.е. локализация дискурса.

2. Реализация указанных выше историко-методологических установок позволила установить, что в основе восприятия времени обнаруживается церковный календарный цикл и трехступенчатая шкала возрастов жизни: детство, зрелость, старость. Причем, переживание детства как особенной поры жизни, а ребенка – как самостоятельного субъекта, связано именно с образовательными практиками советского времени. Значимой особенностью восприятия времени являлось то, что внутри него все еще могли случаться чудеса. Главным «опытом прошлого» оставались воспоминания о гражданской войне.

3. Повседневное пространство воспринималось крестьянами и крестьянками как архипелаг обжитых и опривыченных мест, центром которого являлся семейный дом, на быденном языке именовавшийся «квартира». Освоенный мир делился на три сферы: полезные (добрые) места, населенные хорошими людьми, иногда обладавшие сакральным смыслом (церковь, монастырь, Иерусалим); нейтральные сферы и потенциально опасные местности (железная дорога, большой город, колхоз, казенное учреждение). Горизонтом повседневного пространства выступали мифические области: Индия, Япония, Британия, Германия, Польша, Кавказ, Испания.

4. С началом социалистической реконструкции деревни происходит раскол крестьянского хронотопа, т.е. конфликт праздников (Пасха и 1 мая), отмена привычного ритма труда и отдыха, выделение внутри рутинного мира отчужденного колхозного пространства.

5. Формой присвоения другого внутри деревенского хронотопа выступает слух, сплетня, формирующая репутацию человека. С началом коллективизации в кругу своих появляются так называемые «оборотни»: свои, внезапно ставшие чужими.

6. В качестве ядра социальной жизни деревни в крестьянских нарративах упоминается семья как группа совместно проживающих людей. Семейные отношения не несут особенной эмоциональной окраски, но направлены на предоставление максимальных жизненных шансов каждому индивиду.

7. Единственным институтом малой публичности после начала сплошной коллективизации оставался церковный приход, вокруг которого

складывались альянсы сохранившихся единоличников и низового духовенства.

8. Обнаружены следующие стратегии усвоения социальной трансформации деревни на повседневном уровне: притягивание, сопротивление, крестьянский поессибелизм. Притягивание означало выбор в пользу колхоза. Сопротивление представлено апокалиптическими и мистическими движениями («котельниковщина» и «егоровщина»). Тактику крестьянского поессибелизма (т.е. пассивного избегания вступления в колхоз) демонстрирует судьба В.И. Волокитина.

9. Сопротивление и поессибелизм оказались проигрышными стратегиями. К 1937 г. в деревнях Западного Урала сохранялись лишь рациональные, экономические формы сотрудничества крестьян-единоличников и церковного прихода, нацеленные на совместное выживание вплоть до большого военного конфликта, от которого ожидали перемены власти.

10. Стратегия притягивания перечеркивала все усвоенные жизненные ценности крестьян и крестьянок, вызывала сильную религиозную депривацию, оказывала демотивирующее воздействие, доходящее до состояния аномии, как это случилось в колхозе «Новая жизнь» в д. Агеево.

Практическая значимость исследования предполагает возможность разработки и корректировки учебных курсов по истории России и основам российской государственности, спецкурсов по культурной антропологии и социальной истории в системе высшего профессионального образования. Разработанная в диссертации концепция истории повседневности может быть положена в основание исследовательских и музейных проектов, программ изучения исторической памяти и источников личного происхождения (эго-документов).

Апробация результатов исследования. Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается следованием основным принципам исторической науки, широким кругом источников, привлеченных в исследовании, содержащих значительный объем фактического материала, а также применением методов, которые соответствуют поставленным в работе целям и задачам.

Основные положения, результаты исследования по теме диссертации были изложены в докладах на семнадцати конференциях: международная научная конференция «История сталинизма: репрессированная российская провинция». Смоленск, 2011 г.; международная научная конференция «История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий». Санкт-Петербург, 2012 г.; III всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Диалоги об искусстве». Пермь, 2013 г.; международная научная конференция «История сталинизма: Культура и власть в СССР. 1920–1950-е годы», г. Санкт-Петербург, 24-26 2016 г.; международная научная конференция «Социальная стратификация России XVI-XX вв. в контексте европейской истории». Екатеринбург, 2016 г.; Всероссийская научно-практическая конференция «Город Пермь – 300 лет в

истории России: материалы». Пермь, 2023 г., междисциплинарный научный семинар «Люди и тексты», Москва, 2024 г. и др. Результаты работы представлены в 27 работах, опубликованных соискателем, в том числе: 17 статей в рецензируемых научных изданиях ВАК (из них 9 публикаций в изданиях, входящих в международные реферативные базы Web of Science и Scopus), 1 монография и 3 раздела в коллективных монографиях.

Структура работы определяется задачами диссертационного исследования. Она состоит из введения, четырех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет исследования, объяснены основные используемые понятия, обозначены хронологические и территориальные рамки, степень изученности темы, цель и задачи исследования, его источниковая база и методология, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе **«Повседневность как область исторического анализа»** изложены степень изученности проблемы, теоретико-методологические основы диссертации, дана характеристика источниковой базы.

В первом параграфе *«Историография изучения повседневности»* характеризуются три этапа в формировании историографии повседневности.

На первом, охватывающий 60 – 70 годы XX в. повседневность стала предметом изучения медиевистов и историков, занимающихся эпохой раннего модерна в Западной Европе.

В качестве специфического предмета изучения повседневность предстала в исследованиях школы «Анналов» еще в 60-х годах – как медленно изменяющиеся рутины (стереотипы поведения) рядовых акторов, маленьких людей архаических и традиционных обществ в пределах времени «большой длительности»; рутины, преобразуемые (или разрываемые) капитализмом Нового времени.

Тема быстро эволюционировала, и вскоре анализ повседневности стал включать ментальную компоненту – жизненный мир как общий горизонт любых осмысленных практик. Опыт удачно реализованных исследовательских программ показал, что историческая реконструкция повседневности предполагает укрупнение масштаба, локальность описываемого пространства-времени (хронотопа) и однородность исследуемого социального круга; наличие источников личного происхождения, выражающих субъективную точку зрения. В поисках последних исследователи повседневности (К. Гинзбург, Э. Ле Руа Ладюри и др.) ввели в научный оборот материалы инквизиторской антропологии, а также продемонстрировали возможность использования уникальных свидетельств.

Поэтому нет ничего странного в том, что особенная ситуация с источниками по повседневной жизни традиционного европейского крестьянства («ситуация власти» по К. Гинзбургу) приводит к тому, что самое обыденное документируется в виде исключения. Тогда показания 27 человек, допрошенных когда-то епископом Ж. Фурнье, могут оказаться ключом (возможно – единственным) ко всей традиционной крестьянской *mentalité* на юге Франции в XIII в. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что переход на позицию субъекта ни в микроистории, ни для второго поколения школы «Анналов» не стал принципиальным методологическим выбором, означавшим бы полный разрыв с принципами классического историзма.

В рамках исследований повседневности начинает оформляться нечто вроде предметной матрицы, прилагаемой исследователем к содержанию изучаемых свидетельств. При всем различии номенклатуры А.Я. Гуревича и Э. Ле Руа Ладюри, и в той, и в другой присутствует восприятие времени и пространства, личные связи и круг знакомств, формы коммуникации, практики добывания хлеба насущного, богатство, телесные практики.

На втором этапе история повседневности расширяет хронологическое и тематическое поле исследования, выходя за пределы средневековья и раннебуржуазных обществ. В 80 – 90-х годах оформляется в качестве самостоятельной научной школы германская история повседневности (*Alltagsgeschichte*), в фокусе внимания которой оказался XX век. Исследователи повседневности осознают тот факт, что не просто занимаются каким-то особенным предметом, но используют методологию, отличающуюся от классической манеры исторического письма.

В рамках *Alltagsgeschichte* была реализована альтернативная стратегия историописания, основанная на перенесении центра (субъектоцентризме), замене идеологического подхода феноменологическим; предполагающая использование источников не о людях, а от людей исходящих – источников личного происхождения. Введение контекста «солидной историографии» в ней осуществляется не определением основных понятий (теоретических моделей) исследования, а посредством локализации дискурса, т.е. привязки его к субъекту, размещенному внутри конкретного хронотопа и социального круга. Все это делалось намеренно, что предполагает осуществление рефлексии над собственными методологическими основаниями, целями и средствами истории повседневности.

В фокусе исследовательского интереса оказалась проблема усвоения субъектом результатов общественного труда, а также использования предоставляемых «большими общественными телами» и глобальными процессами возможностей. С этой точки зрения определения повседневности в объектном смысле (наряду с определением «государства», «идеологии», «класса» и т.п.) быть дано не может, и это не дефект методологии, а просто ее последовательная реализация. Еще раз подчеркнем, что повседневность – не объект, а область жизненного мира обычных людей, в которой каким-то заранее не предполагаемым способом происходит усвоение (или присвоение) и интеграция в рутинизированное поведение всего того, о чем говорит

классический исторический нарратив. Набросать заранее концептуальную схему повседневности представляется невозможным, т.к. о ней должен рассказать сам актер, а исследователь обязан лишь внимательно слушать и добросовестно, т.е. непредвзято интерпретировать его свидетельства.

Все «большие общественные тела» и процессы имеют в повседневности ровно тот смысл и значение, которые актер им припишет в ходе усвоения. Не следует сбрасывать со счетов и те случаи, когда он говорит о том, что на объектный взгляд вообще принадлежит исключительно к области фантазии: повседневном смысле конца времен (апокалипсиса), загробной жизни и т.д..

Хронологические рамки исследования были передвинуты в соответствии с горизонтом социальной памяти, т.е. в XX век, поскольку одним из основных способов формирования источниковой базы стала *oral history*.

Следует подчеркнуть, что появление истории повседневности вылилось в незавершенный до сей поры конфликт со сторонниками классической (или традиционной) историографии, обоснованно увидевших в ней посягательство на основы профессиональной деятельности.

Третий этап начинается на рубеже XX – XXI веков, когда приверженцы нового направления в исторической науке появляются в России. При этом происходит практически синхронное обновление исследовательских программ в отечественной медиевистике, т.е. дальнейшее развитие первого этапа историографии повседневности, и самоопределение историков, изучающих советскую повседневность, т.е. следующих традиции *Alltagsgeschichte*.

На третьем этапе в советских и затем – в российских гуманитарных науках концепт повседневности с самого начала воспринимался в рамках междисциплинарного подхода – в его философской, социологической и собственно исторической интерпретации. По мере того, как исследовательская программа истории повседневности воспринималась научным сообществом, происходило обновление методологии российской медиевистики (дискуссия в «Одиссее» и «Казусе») и оформилась историографическая традиция изучения советской повседневности. Таким образом, в отечественной историографии те этапы, которые проделала европейская традиция более чем за 30 лет, присутствуют в «снятом» виде, в качестве конкретных элементов исследовательских программ.

В зависимости от того, как историки осуществляют операцию по локализации дискурса, в изучении советской повседневности можно выделить работы с приоритетным интересом к периоду (времени), локусу (месту), событию (действию) или социальному кругу (актору). Но наименьшие «погрешности» дает микроанализ.

В настоящее время история повседневности в России является одной из самых быстро развивающихся направлений историографии, но внутри нее обнаруживается явная диспропорция. Количество публикаций, позволяющих увидеть перемены в довоенном СССР глазами самой массовой категории

советских граждан (крестьянства), несравнимо меньше, чем работ, посвященной повседневной жизни горожан.

Реконструкция объективного контекста трансформации советской деревни с начала 90-х годов вышла на новый уровень: историки перестали пользоваться идеологизированными понятиями и существенно расширили источниковую базу. Применение теоретических подходов социальной истории и концепции модернизации позволило сформировать расширенный спектр предметов изучения. Частью этого процесса являются современные исследования истории Урала.

Таким образом, интерес к повседневности у историков развивался на собственном основании, независимо от философской рефлексии и социологических теорий феноменологического круга. Более чем за полвека эта традиция прошла путь от простого стремления заглянуть в «глубинные слои» ментальности средневекового крестьянина до концепции, полностью осознавшей себя в качестве альтернативной субъектоцентрической историографии, имеющей свои принципы, методы и особенный круг источников.

С классическим стилем исторического письма она находится в отношении комплиментарности. Не перечеркивая выводов и не опровергая концептуальных моделей объективистского толка, история повседневности в итоге пришла к тому, что определила свою исследовательское поле как проблему «усвоения» тех явлений, о которых говорит «солидная историография» (А. Людтке).

Эта проблема имеет значение не только потому, что обладает гуманистическим потенциалом и возвращает в исторический нарратив точку зрения маленького человека. Ее анализ имеет вполне прагматическое измерение, т.к. позволяет понять массовые низовые практики сопротивления, мотивацию тех или иных поступков рядовых акторов; определить пределы объяснительных возможностей концепции тоталитаризма; увидеть историческую реальность как сложную агрегацию нормального и патологического, публичного и приватного, институционального и ментального.

Во втором параграфе *«Методология и источники исследования»* дана характеристика концептуальных оснований и специфики источниковой базы исследования, а также приемов работы с ними.

Историографический анализ показал, что изучение повседневности как в России, так и за ее пределами представляют собой новое, неклассическое направление исторического письма. Поскольку его самоопределение и утверждение в исследовательском поле произошло сравнительно недавно, историки повседневности подчеркнуто внимательны к методологическим и методическим проблемам; к разграничению предметов исследования с этнологией, краеведением, историей быта; к приемам работы с источниками и пр. Они строго придерживаются всех общепризнанных научных принципов (объективности, историзма, системности), но специфика решаемых задач предполагает их необходимую реинтерпретацию.

Повседневность есть наиболее консервативная, устойчивая часть жизненного мира, область традиционной ментальности и затверженных действий, выполняемых на уровне динамических стереотипов (рутинных практик). Жизненный мир, согласно удачному определению О. Хархордина, представляет собой совокупность перспектив осмысленного действия в доступных для члена данного мира интерпретациях. Этот мир обладает особой внутренней топологией и темпоральностью, образует хронотоп, необходимость реконструкции которого относится к первоочередным задачам исследования.

Повседневность настолько привычна, так ассоциируется с нормальным образом жизни, что, согласно А. Шюцу, воспринимается в качестве «относительно естественного аспекта мира», в одном ряду с миром природы. Поэтому повседневность всегда выступает в человеческом живом опыте как *культурно-историческое a priori*, основа и источник любого подручного знания (*knowledge at hand*); оно воплощает в себе осевший локальный исторический опыт, стало быть, его реконструкция является обязательным методологическим требованием и способом реализации *принципа историзма* в феноменологическом исследовании.

Горизонт жизненного мира открыт и содержит возможность «неожиданностей» (интервенций в повседневность). С последствиями этих интервенций на повседневном уровне происходит напряженная работа по «усвоению» (А. Людтке) или «реконфигурации» (В.Н. Сыров). Именно поэтому повседневность и жизненный мир образуют противоречивую целостность, реконструкция которой на уровне феноменологического исследования реализует *принцип системности*.

Разумеется, применять эти принципы прямо и непосредственно к конкретному историческому исследованию повседневности без дальнейшей инструментализации невозможно. При всей важности названных выше принципов, применить их к опыту *другого* можно только опосредовано через устную или письменную речь, дискурс.

Данное обстоятельство до сих пор является источником ряда серьезных методологических проблем для всех гуманитариев – социологов, антропологов, культурологов, историков и пр. Эти проблемы группируются вокруг двух основных пунктов: первый – как в принципе возможно представление повседневности (и жизненного мира) в дискурсе; второй – как производить ту необходимую для эмпирического исторического исследования операцию, которая ранее была обозначена как *локализация дискурса*.

Проблемы, связанные с локализацией дискурса в историческом исследовании, и, конкретно, в данной работе, заслуживают специального анализа. Ее предмет предполагает реконструкцию повседневной жизни обитателей сел и деревень Прикамья на рубеже 20 - 30-х годов XX века, а также процесса усвоения тех перемен, которые были вызваны «социалистической реконструкцией» деревни. Тем самым, все технологии «*oral history*» можно исключить с самого начала, т.к. живых очевидцев эпохи

уже нет. Историк в данном случае лишен возможности формировать источниковую базу самостоятельно – относительно значимых для него аспектов повседневности. Следовательно, ему остается использовать письменные свидетельства, вышедшие из крестьянской среды интересующего нас периода (при этом относящиеся к определенному региону), *источники личного происхождения*, в которых звучали бы (и это не метафора) голоса людей давно завершившейся эпохи. К этим источникам традиционно относится ограниченный круг текстов, включающий *воспоминания* (мемуарные источники), *автобиографические и дневниковые записи, письма*.

Ситуация с источниками личного происхождения, которые могли бы быть положены в основу данного исследования, на первый взгляд выглядит неудовлетворительно. К аналогичному выводу пришел исследователь крестьянской повседневности в России конца XIX - начала XX века В.Г. Безгин: «Проведенный источниковедческий анализ показал, что интересующие материалы разбросаны в многочисленных архивных фондах. Крайне мало документов, происходящих из крестьянской среды. Документы органов власти, в большей мере, содержат косвенную информацию по интересующему нас вопросу»⁵. Добавим, что на Западном Урале не практиковались «обследования деревни», которые проводились в некоторых губерниях в первой половине 20-х годов XX века⁶.

Тем не менее, возможность услышать собственный голос представителей того социального круга, о котором идет речь (крестьян и крестьянок), существует. Необходимо обратиться к тем материалам, которые предоставляет «инквизиторская антропология»⁷.

В той точке, где в ткань повседневной жизни проникает деятельность карательных органов и начинается отыскивание, поиски, розыск, происходит формирование комплекса свидетельств личного происхождения. Разумеется, инициированных, а не спонтанных. Однако, принуждая отвечать на вопросы, «инквизиторы» в любую эпоху все же заставляют людей говорить о себе и о других, фиксируют показания. И тем самым доносят до нас их речь, составляя следственные дела. Таким образом, историки имеют в своем распоряжении массив документов, потенциально содержащий высказывания «маленьких людей» о своей повседневности, несущий отпечаток их жизненных миров – это судебные и архивно-следственные (архивно-уголовные) дела. Архивно-следственное дело, рассматриваемое с точки зрения «инквизиторской антропологии», не представляет собой отдельного типа источников. Для исследователя это своего рода коллектор

⁵ Безгин В.Б. Традиции сельской повседневности конца XIX - начала XX веков (на материалах губерний Центрального Черноземья). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Специальность 07.00.02 - Отечественная история. На правах рукописи. Москва, 2006. С. 25.

⁶ См. Буров Я. Деревня на переломе (год работы в деревне). М.; Л., 1926; Гагарин А. Хозяйство, жизнь и настроения деревни (по итогам обследования Починковской волости Смоленской губернии). М.; Л., 1925; Росницкий Н. Полгода в деревне: Основные итоги обследования 28 волостей и 730 крестьянских хозяйств Пензенской губ. Пенза, 1925; Яковлев Я. Деревня как она есть. 2-е изд. М., 1923.

⁷ См. Лейбович О.Л., Казанков А.И. "Инквизиторская антропология" как генератор исторических нарративов советской эпохи / Шаги / Steps. Т. 8. № 3. 2022. С. 198 – 214.

разнообразных видов источников, в том числе и эго-документов (протоколы допросов, письма, агентурные донесения, жалобы) наряду с формализованной ведомственной документацией.

Их давно и успешно используют медиевисты – специалисты по одной и самым «бесписьменным» эпохам. В историографическом разделе был рассмотрен опыт Э. Ле Руа Ладюри, воспользовавшегося регистром епископа Жака Фурнье, и работы К. Гинзбурга, основанные на материалах инквизиционных процессов. На протоколах судебных разбирательств основаны и недавние публикации О.И. Тогоевой⁸.

Документы из архивно-следственных дел, хранящихся в региональных архивах, для реконструкции повседневной жизни и жизненных миров использовались эпизодически⁹. Между тем, в Пермском государственном архиве социально-политической истории (ПермГАСПИ) имеются два фонда, в которых хранится более 32 тыс. подобных дел. Это фонд 641/1 («Архивные уголовные дела на лиц, снятых с оперативного учета в ИЦ УВД Пермского облисполкома»; 17110 дел) и фонд 643/2 («Архивные уголовные дела лиц, реабилитированных по Указу Верховного Совета СССР от 16.01.1989 и закону РСФСР от 18.10.1991»; 15753 дел). Дела доступны для исследователей, т.к. все их фигуранты реабилитированы.

Благодаря совпадению ряда уникальных объективных и субъективных обстоятельств, в распоряжении исследователей находится тщательно сформированная на протяжении 1932 - 1936 годов доказательная база обвинений в контрреволюционной деятельности деревенских жителей, принадлежащих к кругу церковных людей. Именно они выделялись главной социальной опасностью на селе после «ликвидации кулачества как класса».

Обосновано положение о том, что именно в это время в этом кругу крестьян и крестьянок, подробно и неоднократно допрошенных, находились обитатели единоличных дворов, пережившие кампанию по массовой коллективизации, но все же не вступившие в колхозы. Обстоятельства сложились так, что именно церковный приход был единственным публичным институтом, оставшимся от прежней нормальной жизни. Да и сами приходские священники были весьма информированными людьми, если вспомнить обещание осведомителя «узнать все о жизни в Кунгуре», посещая религиозные праздники. Таким образом, операция по локализации дискурса завершена.

Аргументировано положение о том, что предшествующие (раскулачивание) и последующие (массовые операции 1937 - 1938 гг.) репрессивные кампании не создавали источников, релевантных целям и задачам данного исследования (кроме ограниченной серии расследований

⁸ См. Тогоева О.И. Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики / О.И. Тогоева. – Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2018; Тогоева О.И. "Истинная правда" : языки средневекового правосудия / О.И. Тогоева ; Ин-т всеобщ. истории РАН. – Москва: Наука, 2006.

⁹ Колчанова Ю.С. "Не личная выгода меня держала здесь...": жизненные миры советских инженеров в 1930-е г.г. / Ю. С. Колчанова; – Пермь: ПГИК, 2017.

августа - сентября 1937 г., инерционно проводимых в рамках сформированного габитуса). Тем не менее, вводимые в оборот источники отвечают тем требованиям, которые выдвигает феноменологическая методология истолкования опыта, чьи основные принципы были сформулированы ранее.

Вторая глава **«Хронотоп крестьянской повседневности»** посвящена реконструкции восприятия времени и пространства деревенскими жителями Западного Урала в исследуемый период.

В первом параграфе *«Деревня Прикамья накануне и в ходе «социалистической реконструкции»: исторический контекст»* обосновывается тезис о том, что основная масса деревенского населения тех шести дореволюционных уездов, которые совпадают с современным Пермским краем, за первую треть XX века существенно не изменила ни численности, ни структуры расселения, и продолжала проживать в основном на юге и юго-востоке региона.

До 1916 г. крестьяне и крестьянки Прикамья воспринимали обыденную жизнь как нормальную, привычную, «довоенную». В 1917 г. мирная жизнь Западноуральской деревни закончилась и произошел первый разрыв повседневности в силу комплекса причин, среди которых главенствует движение фронта с востока на запад, а затем – с запада на восток, сопровождавшие войну мобилизации, реквизиции, конфликты, разверстка, дальние миграции (в протоколах допросов часто появляется стереотипное определение «отступал с белыми в Сибирь»).

Не следует игнорировать и отмеченный ранее распад капиталистического уклада, уже ставшего привычным и опредмеченного в ситцах, чае, обуви, заводах и рудниках, спичках и керосине, строительстве барок и т.п. Поэтому, когда военные действия и сопровождавшие их эксцессы остались в прошлом, нормальная, т.е. довоенная повседневная жизнь в уральские деревни и села возвратилась не сразу.

Нормализация, т.е. возвращение привычной довоенной жизни на Западном Урале началась в 1924 г., на фоне преодоления кризиса затоваривания, когда вернулся рынок и «пуд хлеба приобрел некоторое соответствие с аршином ситца». Все отмененное и забытое, вынужденно замещаемое фальсификатами и суррогатами, стремительно занимало прежние позиции. Деревня и объективно, и субъективно приближалась к довоенному 1916 году.

Осуществляющаяся нормализация вовсе не означала наступление эпохи процветания. Речь шла о восстановлении отсталости: неэффективного землепользования, рутинных технологий, хищнического отношения к земле и т.п. В конце концов – банальной бедности и очень скромного уровня образования. Самый внимательный взгляд не обнаружит в этой реальности каких-либо прорывов и точек роста. Продолжалась эта нормальная жизнь очень недолго - три года (1924, 1925 и 1926 гг.). В 1929 г. повседневность западноуральской деревни была разорвана начавшейся кампанией по сплошной коллективизации сельского хозяйства.

Второй параграф *«Время повседневности: модальности и смыслы»* разделен на две части.

В первой части второго параграфа *«Непосредственное восприятие времени»* интерпретированы малые и большие циклы протекания повседневной жизни крестьян и крестьянок Западного Урала. На глубинном, фоновом уровне деревенские жители даже после начала социалистической реконструкции села сохраняли усвоенный в период первичной социализации ритм церковных праздников и постов. Колхоз колхозом, а Фомино воскресенье – это не просто воскресенье. Размечая длительности, они умели апеллировать к ритму полевых работ и природной сезонности.

День не обнаруживал внутреннего членения, и о большинстве событий мы даже не можем судить – произошли ли они утром, в полдень или вечером, до обеда или после ужина. Точный хронометраж, напротив, присущ событиям, обладающим трансцендентным смыслом (теофаниям), их объективация включает детальное протоколирование (место-время-участники). Ночь в опыте восприятия времени – особенная, амбивалентная пора концентрации зла, с одной стороны, и стихии чудесного с другой.

В восприятии возрастов жизни обнаружена трехчастная и деятельностно-практическая ориентация. Повседневный статус первого возраста, сейчас обозначаемого как детство и юность, носит сложный, переходный, промежуточный характер. Скорее всего, первый период жизни, или первый возраст, обозначаемый оборотом «жил и работал в хозяйстве отца» для людей, родившихся в небогатых крестьянских семьях, обладал вполне привычным смыслом: это время, когда человек является «приватной собственностью» родителей. На него не претендовали ни школа, ни государство, он не являлся «самозанятым» (отметим контрапункт «В 1895 я от них отделился и работал в собственном с/хозяйстве») и используется на посильных работах «куда пошлют».

Начиная со второй половины 20-х годов, и, примерно, до 1934 - 35 годов включительно, нелинейно и непросто, сразу по нескольким направлениям, происходило оформление советского «первого возраста». Это была именно «экспансия» власти в повседневность. Первым направлением стала кампания по «вовлечению детей в школу», вторым – усиление ответственности (вплоть до судебно-административной) родителей за «детскую безнадзорность», третьим – подготовка кадров воспитателей и учителей, четвертым – меры по «укреплению семьи», пятым – формирование нормативного педагогического дискурса и т.д.

Незадолго до начала второй мировой войны советская власть, что называется, «вчистую» выиграла у семьи битву за детство, т.е. за дисциплинированного и идеологизированного ребенка.

Второй возраст – время самостоятельности, эмансипации для мужчин, для женщин – замужества, монашества и пр. Переход из первого во второй возраст отчетливо фиксируется и ритуализирован. Если взглянуть в сам процесс перехода во второй возраст, в нем отчетливо проступают признаки, придающие ему черты архаического обряда перехода: смена имени (вместо

«Григория Ивановича» – «рядовой Соколов»), переодевание (в солдатскую форму, одежду замужней женщины, монашеское платье), передача из одной власти в другую (от «отца-батюшки» – «царю-батюшке», «мужу-батюшке»), и даже какая-то манипуляция с таким атрибутом телесности, как волосы (новобранцев стригут, в монахи постригают, девице расплетают косу).

Третий возраст наступает тогда, когда человек «не справляется», начинает зависеть от других, демонстрирует инфантильные черты в поведении. Его граница не очевидна и не имеет обрядовой составляющей. О последнем переходе (смерти) информация в источниках фрагментарна.

В повседневной жизни крестьян и крестьянок еще в 30-х годах XX века продолжалось время чудес, которое большинство исследователей ассоциирует с традиционным обществом.

Во второй части второго параграфа *«Воспоминания: прошедшее время»* выявляется и анализируется память о прошлом.

Прошлое, существуя в модальности воспоминания (памяти) является значимым элементом живого человеческого опыта. Современные исследования памяти (исторической, социальной или коммуникативной) представляют ее как сложный феномен, связанный не только с индивидуальными переживаниями, но и с групповой идентичностью. Наличие общих воспоминаний – существенный аспект идентификации с той или иной общностью, поэтому память в высшей степени избирательна. Влияние группы заключается в том, что именно она определяет – что следует помнить и как об этих воспоминаниях надлежит высказываться. Поэтому память неизбежно редактируется и стилизуется в повседневности тех или иных сообществ.

В памяти западноуральских провинциалов особенное место занимает гражданская война. О ней напоминали односельчане (иногда даже члены семьи), официальная пропаганда, каждая заполняемая анкета, места, вещи – одним словом, почти весь фон повседневной жизни. Воспоминания о ней тщательно стилизованы. Они отчетливо носят коллективный, групповой характер и поэтому представлены в двух разновидностях нарративов. Первый можно условно обозначить как «нейтрально-повествовательный», а второй – «агрессивно-обличительный».

Все люди, чью память сохранили органы ОГПУ-НКВД, по предписанному им в ходе следствия статусу делятся на обвиняемых и свидетелей (к которым, безусловно, относятся осведомители, а также сочинявшие справки и характеристики члены сельсоветов). Первая группа демонстрировала «противосоветские» (как тогда писали) настроения, вторая, соответственно, – «просоветские». Тип воспоминаний о гражданской войне был строго соотнесен с группой.

Воспоминания первой группы отличает прежде всего то, что они – «о себе», а затем – минимализм, обтекаемость и нейтрально-безоценочный характер. Воспоминания второй группы – всегда «о других», они подробны, детализированы, пристрастны, их цель – разоблачить, сорвать маску.

Третий параграф *«Области жизненного мира и пространство повседневности»* представляет разметку пространства повседневности. Оно воспринималось крестьянами и крестьянками как архипелаг обжитых и опривыченных мест, центром которого являлся семейный дом, на обыденном языке именовавшийся «квартира».

Освоенный мир делился на три сферы: полезные (добрые) места, населенные хорошими людьми, иногда обладавшие сакральным смыслом (церковь, монастырь, Иерусалим); нейтральные сферы и потенциально опасные местности (железная дорога, большой город, колхоз, казенное учреждение). Горизонтом повседневного пространства выступали мифические области: Индия, Япония, Британия, Германия, Польша, Кавказ, Испания. Обнаруженную нами конфигурацию осмысленного пространства можно представить как ряд последовательно открывающихся горизонтов (концентрических сфер) повседневности, вне которой, с одной стороны, находится «антихристов колхоз», а с другой, диаметрально противоположной, – Иерусалим.

Пространство и время повседневности точно согласованы в смысловом измерении и образуют конкретный чувственно-реальный хронотоп. Его реконструкция, выполненная на основе архивных материалов первой половины XX века, может быть истолкована вполне определенно. Строго придерживаясь принципа «смотреть на культуру снизу» и предоставляя слово актерам из точно очерченного социального круга, мы описали, фактически, пространство и время традиционной культуры, правда – зафиксированное буквально на грани коллапса.

В третьей главе **«Повседневные отношения и практики»** дана характеристика фундаментальных структур и практик повседневной жизни деревенских жителей Прикамья.

Произведенная в предшествующей главе реконструкция повседневного хронотопа западноуральских крестьян и крестьянок позволяет утверждать, что он не представлял собой единства изоморфного пространства и линейного времени. Обнаруженная разнокалиберность и «человекосоразмерность» того и другого явно подразумевает сложную многоуровневую систему отношений между людьми, преломленных в их живом опыте. У нее тоже (по аналогии с пространством) должны обнаружиться центр и периферия, синхронные и диахронные циклы (по аналогии со временем), неизбежные разрывы.

Внутри самой повседневности должна быть как-то обозначена граница, очерчивающая круг своих, а за его пределами помещающая чужих. В этой системе отношений и посредством нее деревенские жители осуществляли неизбежные рутины, связанные с добыванием хлеба насущного, телесностью, сексуальностью, браком, дружбой, враждой, словом – все то, что очень редко ясно осознается и еще реже формулируется в дискурсе. Тем не менее, в данной главе будут представлены ментальные и практические структуры опыта, связанные именно с этой областью повседневной жизни.

В первом параграфе «*Свои и чужие*» делается вывод о том, что основной формой дискурса об окружающих людях являлся fake-lore (сплетня, слух, пересуды, байка и быличка). Он являлся: а) формой представления и присвоения другого, в) средством приземления и переработки властных интервенций, с) инструментом «набрасывания» на образы и поступки других привычных тропов и социокультурных архетипов.

Парадоксальным следствием этого являлось то, что для человека, погруженного в повседневную жизнь, все другие, разделяющие с ним общие «претерпевания и действия», представлялись своими. Ни в дискурсе, ни в практиках, например, признания (следователю), оценивания или коммуникации не обнаруживаются ни отчетливые маркеры чуждости, ни какие-либо особенные стратегии взаимодействия с чужаками. Настоящие чужаки находились вне повседневности, это евреи, комсомольцы, коммунисты, правительство, а иногда так – правительство, в котором остались одни евреи. В условиях массивной интервенции, которой подвергалась провинциальная повседневность на рубеже 30-х годов XX века, эта особенность деревенской сплетни приобретала удивительную актуальность. Акции власти порождали неожиданные и асимметричные реакции повседневной ментальности, вызывали конструирование фактов, а заодно и их «объяснений».

Среди своих случались оборотни. Суть оборотня в том, что вот сейчас он – свой, понятный и привычный, а в следующий миг «перекувырнулся, головой о пень ударился», – и стал кем-то другим. То, что две его природы проявляются диахронически, не отменяет того факта, что обе пребывают в нем синхронно. Поэтому встреча с оборотнем (в отличие от трансцендентного «еврея») и есть граница мира своих, обнаруженная «изнутри», в пределах повседневного опыта, – опыта, добавим, часто приобретающего в момент обнаружения оборотня трагический или даже катастрофический характер. Довольно долго эти «перевертыши повседневности» сохраняли ясное сознание того, что «повернувшись» они тайно проникают в пределы мира, ставшего для них чужим. И делали это, притворяясь своими.

Во втором параграфе «*Родство и свойство*» характеризуется базовая форма существования в крестьянской повседневности Западного Урала.

Сердцевиной «мира своих» для любого человека была семья, родство и свойство. Поскольку вопрос о составе семьи был обязательным протокольным вопросом (на него отвечали все без исключения), можно более или менее точно установить повседневный смысл категории «семья» в интересующую нас эпоху. Все люди, состоявшие в браке, отвечая на этот вопрос, называли мужа (жену) и перечисляли детей, но также и тех, кто проживал «у них на квартире» или «в одном доме». Принцип совместного проживания, одного дома-хозяйства очерчивал семейный круг. Если ни дома, ни хозяйства не было, на вопрос о семье иногда следовал ответ «Одинокий», но в ходе дальнейших расспросов все-таки называлась родня: обычно братья, сестры, родители (если были живы).

Истолкование имеющихся в нашем распоряжении свидетельств позволяет утверждать, что в повседневной жизни западноуральских крестьян и крестьянок в первой трети XX века семья воспринималась, прежде всего, как группа совместно пребывающих в доме-хозяйстве («на квартире») людей, связанных обязанностью взаимной поддержки и практически участвующих в совместном выживании. В ментальности той эпохи семья – в первую очередь экономическая ячейка. Не случайно при описании начального этапа биографии обычно говорили «проживал в хозяйстве отца» а не в «семье отца». Вопросы степени кровного родства и, тем более, оттенки чувственно-эмоциональных отношений (симпатия, антипатия) играли в ней исчезающе малую роль.

Отношения родства и свойства, которые мы обнаружили внутри деревенской повседневности, следует оценить как важный стабилизирующий и поддерживающий институт. Они не дарили любви, понимания и разделенного одиночества, но могли обеспечить пропитание и кров над головой, формируя довольно узкие, но эффективные горизонтальные связи.

Третий параграф *«Структуры малой публичности»* разделен на две части.

Первая часть третьего параграфа *«Церковная иерархия и духовная корпорация»* посвящена анализу единственного института, оставшегося от прежней нормальной повседневности с началом кампании по сплошной коллективизации – церковного прихода.

Тщательный анализ сохранившихся свидетельств демонстрирует несколько векторов отношений, имевших различающийся смысл.

Прежде всего, отношения «членов духовной корпорации» между собой – вертикальные и горизонтальные. С определенного момента только эта корпорация могла объединять «бывших людей» за пределами их приватно-семейных локусов, образуя непрерывность христианского (т.е. крестьянского, разумеется) мира в той мере, в какой этот повседневный мир еще продолжал свое существование в уральской провинции.

В свою очередь сама «духовная корпорация» могла существовать только за счет «бывших людей». В определенном смысле, она ими «питалась». Следовательно, в поле зрения неизбежно попадут взаимоотношения клириков с мирянами – «церковным активом» и рядовыми прихожанами (и обратно – мирян с клириками). Наконец, следует принять во внимание расположенную между клириками и мирянами весьма разнообразную прослойку маргиналов, включавшую странников, юродивых, нищих, бродячих проповедников, тайно постриженных монашек, безместных священников, (их иногда называли «поп-передвижка») и т.п., и описать их место в мире «бывших людей».

Церковная организация Пермской епархии и Кунгурского викариата сохраняла видимость рациональной бюрократии с четкой системой соподчинения (епископ – благочинный – приходской священник, настоятель храма), циркулярными предписаниями, регулярной отчетностью нижестоящих перед вышестоящими, кадровой политикой и т.п. В

повседневном восприятии акторов-участников картина полностью меняется. Так, например, ни о каком получении жалования (основы бюрократической службы) речи не шло. В качестве рутинной практики действовал принцип кормленных местечек, каковыми являлись все функционирующие храмы. Не церковные иерархи назначали деревенским батюшками оклады, а сами попы содержали себя и выплачивали «дань» архиереям – прямо или через благочинных. Власть епископата основывалась на принципе, который более всего напоминает номенклатурный. Глава епархии не владел и не распоряжался культовыми зданиями, не платил за них «страховку, земельную ренту и налог со строений». Но у него было исключительное право (вспоминается феодальный иммунитет) назначать туда священника и возможность закрыть церковь через структуры советской власти (Райисполком).

Следствием всех вышеназванных обстоятельств являлось устойчивое нежелание церковных иерархов привлекать внимание представителей власти (особенно ее карательных органов) к деятельности «духовной корпорации»; стремление решать проблемы келейно (в буквальном смысле слова), пока это возможно. Любое событие, имеющее публичный резонанс, рассматривалось как крайне нежелательное – вне зависимости от того, роняло ли оно авторитет церкви, или призвано было его укрепить. Пьянство, воровство, развратные действия, драки, побои (случалось и такое) в этом смысле не отличались от видений, самовозгорающихся лампад, мироточивых икон, явлений святых и пр. Если кто и был сторонником абсолютной рутинизации повседневности, так это руководство Пермской епархии и ее Кунгурского викариата, поскольку вынуждено было нести ответственность за любое нерядовое происшествие.

Эту ответственность они несли не столько перед московским Временным Патриаршим Священным Синодом и Заместителем Патриаршего Местоблюстителя, сколько перед третьим отделением секретно-политического отдела полномочного представительства ОГПУ по Уралу (впоследствии УНКВД), который в интересующий нас период возглавлял М.Г. Купер-Михеев. Михаил Григорьевич требовал регулярных отчетов и старался максимально плотно окружить церковных иерархов сетью осведомителей. От них-то мы не без удивления узнаем, что тесных контактов с главой СПО в середине 30-х годов XX века не только не стыдились, ими иногда бравировали.

Поэтому к неформальным повседневным особенностям функционирования церковной иерархии можно отнести явное и тайное сотрудничество с органами ОГПУ-НКВД через третье отделение СПО, систему осведомления и доносительства. Существенным аспектом церковной жизни являлась коррупция, интриги, круговая порука/корпоративная солидарность. Гораздо важнее формального статуса были личные контакты в иерархии и карательных органах. Коротко говоря, церковная иерархия не воспринималась как стабильная, целостная и нормально функционирующая структура. Наиболее очевидным симптомом этого выглядят периодически

возникающие шоковые состояния ее агентов, распри, доходящие до отказа в легитимности епископу и части клира (признание их безблагодатности).

На фоне всего сказанного выше следующий вывод выглядит немного странно, но он опирается не на многочисленные свидетельства источников. Духовная корпорация как система разветвленных, постоянно возобновляемых горизонтальных связей была совершенно реальна. Эти связи формировались не протяжении десятилетий, некоторые сохранились еще из дореволюционной «нормальной» повседневности. Из них были исключены священники-обновленцы, которые, впрочем, могли принести покаяние и вернуться в каноническое общение с епископом, т.е. интегрироваться обратно в сообщество. В начале 30-х годов на фоне «перегрева» эсхатологических ожиданий будет предпринята попытка раскола в этом социальном кругу (харизматики и иные).

Таким образом, прозрачная на вид и канцелярски оформленная структура Пермской и Кунгурской епархии на повседневном уровне скрывала теневую систему максимально непрозрачных отношений, включавших оглашаемую или не оглашаемую зависимость от карательных органов, коррупцию, круговую поруку, перекрестное осведомление, перекладывание ответственности друг на друга, предписанное доноительство и разнообразные формы его саботажа, личные симпатии и антипатии, корпоративную солидарность, конфликты и интриги. Каждый актер в ней обладал «эластичностью позиции»: подчиняться или протестовать, принять взятку или прогнать подносителей, доложить или промолчать (а также – кому именно доложить), венчать или не венчать, красть или не красть, пить или не пить (хотя, похоже, тут выбор был небольшой) и т.п. В подобной ситуации результаты любой интеракции даже внутри этого круга своих трудно было заранее предсказать, иногда они просто повергали в шок.

Вторая часть третьего параграфа *«Пастыри и паства»* уточняет отношение мирян (прихожан) к церковному причту, находившемуся с ними в непосредственном контакте. Факт принадлежности того или иного субъекта к церковной иерархии не означал автоматического признания его авторитетом для приходского актива и мирян, посещающих храм, и не вызывал безусловной лояльности. Презумпция «наемника» имела реальный повседневный смысл, поскольку реализовывалась в практиках перемещения или замены приходского священника. Переместить пытались не только «морально запятнанных», но «антисоветски настроенных» батюшек. Однако, в реализации этих интенций инициировавшие их приходы были ограничены формальными и неформальными отношениями внутри церковной иерархии. Приверженность скорее к храму («церкве»), чем к ее настоятелю, была элементом многих рутинных практик, без учета которого они не вполне понятны. Культовое здание воспринималось как действительный символический центр деревенского публичного пространства, сохранение которого оправдывало реальные жертвы. Наиболее интересным наблюдением в данном контексте является то, что на фоне

«социалистической реконструкции села» в западноуральской деревне проявятся истинные пастыри – харизматики («благодатные»), лояльность по отношению к которым превышала традиционную лояльность по отношению к храму.

Реконструкция повседневных структур, относимых к малой публичности, была бы не полна без описания небольшой, но очень мобильной и в определенном смысле важной категории акторов. Рядом с храмом, на церковной паперти располагались юродивые, «странствующие», женщины-монашки (иногда тайно постриженные), «мироносицы», самочинные проповедники из набожных мирян.

В четвертом параграфе «Трудовые практики» раскрывается смысл и характер деятельностно-практического отношения к миру.

Реконструкция повседневных практик крестьян и крестьянок Прикамья, свидетельствует о том, что труд как таковой не рассматривался как безусловная ценность, наряду с ним ценилась «молитвенная праздность» и добровольно принятый на себя религиозный подвиг. Труд крестьянина был эталоном и меркой для любых занятий, крестьянин всегда «труженик». Работу не путали со службой, и, при этом, занятия «духовной корпорации» скорее оценивали как специфическую работу.

«Работа» и «служба» явно имели различный смысл, это не вызывает ни малейших сомнений. В армии, школе, церкви, милиции служат. Фотографом работают. Иногда эти занятия прямо противопоставляются: «Он прослужил в церкви недолго, а потом отрекся от бога, стал его всячески ругать, ушел в Чернушку и поступил на работу». Но схватить повседневный практический смысл этого различия не так просто. Прежде всего, следует отбросить представление о том, что за различием «службы» и «работы» скрывается банальная разница между умственным и физическим трудом. Служба солдата требует несравненно больших физических усилий, чем работа фотографа.

А вот на то, что школа, церковь, отделение милиции, солдатская казарма в России – казенные учреждения, стоит обратить внимание. На службу ходят, ходят в «присутствие». Далее, у всякого служащего есть начальник, он встроен в конкретную, осязаемую иерархическую структуру – поскольку слуга (услужающий) всегда определен по отношению к господину. У солдата есть взводный или отделенный, у унтера – ротный, у ротного – батальонный. У старорежимного учителя – директор и попечитель, инспектор и т.д. На службу назначают, всякий служащий «состоит в штате» и получает «оклад жалования» от начальства.

Работа же начальства не требует. И присутственного места тоже. Это иногда рутинное, а иногда (как в случае с фотографированием) – довольно хитрое делание, связанное с воздействием на некоторый объект подручными инструментами: химическими реактивами – на фотопластинку, лопатой – на грядку, дратвой – на валенок, плугом – на пашню и т.д. Это отношение, связывающее не начальника с подчиненным, а человека с универсумом знакомых вещей.

Наряду с «крестьянствованием» деревенские жители (включая низовое духовенство и, шире, «церковных людей») владели широким спектром ремесленных навыков, которые могли быть актуализированы в любой критической ситуации. Целью практической деятельности являлась сытость («быть с хлебом»), а не деньги (богатство). Деньги и их суррогаты (облигации) имели ограниченное значение в условиях вернувшегося товарного голода. Крестьянская повседневность формировала крайнюю ограниченность потребностей, готовность и умение переносить лишения, способность выживать в любой ситуации.

Оценить в целом уровень жизни деревенских очень непросто, скорее всего, он варьировался в весьма широком диапазоне. Составленные в момент ареста (всегда сопровождавшегося обыском) описи «лично принадлежащего имущества» заполнялись произвольным образом, и поэтому чаще всего оказываются несравнимыми, да и выполнялись эти описи не всегда. Составляющие их в присутствии свидетелей оперуполномоченные обязательно что-то пропускали. Оценка однотипных позиций номенклатуры (скатерть, комод, солонка, валенки, шуба и т.п.) варьировалась в очень широком диапазоне.

Первое впечатление, которое оставляет чтение этих описей, можно сформулировать так – жили очень просто. Скромный личный гардероб, в котором все вещи основательно ношены. Необходимые предметы обихода – самовар, посуда, белье. Усадьба с надворными постройками. Коза или корова – в лучшем случае. Лошадь не упомянута ни разу. Небольшой запас продуктов – сахар, мука, картофель.

В крестьянской среде деньги были не у всех. Пожалуй, правильнее было бы сказать – еще и не везде. Факты изъятия значительных сумм (исчисляемых трехзначными цифрами) удалось обнаружить у священнослужителей, причем только в пяти районах: Березовском, Кишертском, Ординском, Уинском, Чернушинском. Арестованные в разное время, проходившие по разным делам, проживавшие в разных деревнях состоятельные батюшки служили в регионе, компактно расположенном непрерывной полосой на крайнем юго-востоке Пермского края.

Сытная еда, и ни что иное, оставалась в повседневном восприятии синонимом богатства. Именно так ощущала свою прошедшую счастливую жизнь крестьянка, от которой ушел муж: «Лет 6 муж меня бросил из-за моей болезненности, оставив меня с девочкой. Жили мы с ним богато, пировали и я религиозной не была».

Глава четвертая **«Разрыв повседневности: сценарии бифуркации»** посвящена рассмотрению возможных вариантов усвоения «социалистической реконструкции деревни» в пределах западноуральского региона. Каждый из представлен микроисследованием, в центре которого находится биография конкретного участника событий.

В параграфе первом *«Апокалиптика. О. Иоанн (Котельников)»* восстановлена история крестьянского движения в 6 благочинном округе Кунгурского викариата, инициатором которого был протоиерей о. Иоанн

(Котельников). На какое-то время это движение локально приостановило кампанию по сплошной коллективизации в д. Подавиха.

Крестьянское движение, которое на жаргоне оперуполномоченных ОГПУ называлось «котельниковщина», представляет собой экстремальный сценарий усвоения разрыва повседневности. Крах осмысленной жизни, вызванный «социалистической реконструкцией деревни», был настолько масштабен, что сделал реальным апокалиптический сценарий.

Уникальность сформировавшейся в сентябре-декабре 1932 г. коллаборации заключается в нескольких чертах. Прежде всего, она словно бы «запоздала» по отношению к началу кампании по сплошной коллективизации. Ей понадобилось время, чтобы «созреть», т.е. дожждаться момента, когда последствия интервенции в повседневную жизнь стали очевидны, наблюдаемы. Далее, в случае с «котельниковщиной» речь шла не о простом «усилении апокалиптических настроений», часто сопровождавшем любые перемены в жизни крестьянства. Перед нами оформившееся движение, имевшее структуру, тактики, центр и конкретные цели и задачи, сколь не иллюзорными казались бы они стороннему наблюдателю.

Важно помнить, что оно включало не только «апокалипсис в Подавихе», но и систематическое, организованное давление прихожан (возглавляемое бродячими проповедниками) на приходских священников. Последним пришлось пройти совершенно неканоническую, но действенную аттестацию на благодатность. Одним из ее наиболее странных, но именно поэтому составляющих отличительный признак движения, критериев стал вопрос о венчании «повторных браков», т.е. о правильном исполнении таинств. На первый взгляд, это не имело никакого отношения к «победе и укреплению колхозного строя». Однако общая консервативная (или даже реакционная) направленность давления – чтобы все было как при епископе Аркадии (Ершове), т.е. до 1929 г., явно указывает на желание вернуться в прошлое, к нормальной жизни. Или не жить вовсе.

И, наконец, эта уникальная коллаборация не состоялась бы, не оказись во главе ее харизматический лидер – о. Иоанн (Котельников), с его биографическим опытом, подвижническими устремлениями, готовностью видеть знаки, толковать знамения, претерпевать гонения, т.е. быть настоящим, «сияющим как звезда» пастырем. В ситуации коллапса привычного повседневного крестьянского мира он не мог предложить пастве выхода (которого, собственно, и не было), но смог предречь исход.

Во втором параграфе «*Мистика. О. Федор (Егоров) и о. Николай (Крылов)*» реконструировано формирование социального круга священника о. Федора (Егорова), сумевшего внушить своим последователям веру в чудо, основанную на прямом контакте с трансцендентным миром. Этот контакт обеспечивал ему настоятельство храма в заводе Бым о. Николай (Крылов). Именно он обнаружил медиума – Антонину Ходыреву (Шилову), служившую сторожем приходской церкви. Женщина страдала тяжелыми истерическими припадками, во время которых погружалась в пограничное состояние сознания и созерцала потустороннюю реальность. При этом она не

утрачивала дара речи и транслировала содержание своих видений собиравшимся вокруг нее слушателям. Для о. Федора (Егорова) опыт Антонины Ходыревой (Шиловой) имел принципиальное значение явленного чуда.

Перемещаясь с одного места службы на другое, о. Федор (Егоров) постепенно формировал разветвленную, стелющуюся сеть приверженцев, блуждающим центром которой был он сам. Эта система связей, замкнутая на медиаторе, была, безусловно, менее эффективна в целях мобилизации крестьян и крестьянок на какое-то действие, но коллективизация в д. Хмелевка почему-то протекала именно по подавихинскому сценарию. Священник не был любим духовенством сопредельных приходов, у которых он переманивал прихожан, местными совработниками и мужьями всех жен, которые внезапно стали истовыми прихожанками. Его арест, как и арест его последователей и последовательниц, был делом времени.

Двигаясь по совершенно иной жизненной траектории, о. Федор (Егоров) оказался именно на той позиции, что и проживавший в селе Беляево в той же Кунгурской епархии протоиерей о. Иоанн (Котельников). Они были абсолютно не похожи: один образован, интеллигентен, склонен к рефлексии; другой малограмотен, груб и авторитарен. Один был погружен в мистику и верил в спасение – после того, как плачем и поцелуями удастся разбудить спящего бога. Его вера в чудо была вполне подобна народной, хотя и имела иное происхождение. Другой ясно видел знаки прихода Антихриста и неизбежность апокалипсиса. Он знал, что этот мир обречен.

Правда, были и сходства – хотя бы в том, кто каждый из них попытался написать книгу. Как и о. Иоанн, о. Федор (Егоров), став священником, явно обладал талантом вызывать любовь и преданность прихожан. Тут движение было взаимным – к благодатному пастырю тянулись именно те люди, которые нуждались в таком человеке. И закончилась эта взаимность и в том, и в другом случае трагически.

Главным же их сходством было то, что в определенный момент каждый из них решил для себя: есть мы и они, истинные и неистинные пастыри. Благодать с нами, а они безблагодатны. Мы видим знаки и верим знамениям, они не видят и не верят. Иерархии нет, есть только один авторитет – Иисус Христос. Далее, рано или поздно, должен был последовать разрыв «с ними». Это заставляет предположить, что в другое время и в другом месте и о. Федор, и о. Иоанн вполне могли бы возглавить какое-нибудь протестантское течение.

В третьем параграфе *«Крестьянский попсибилизм. В.И. Волокитин»* представлена история середняка-единоличника, попытавшегося игнорировать коллективизацию и «врасти» в социализм. Василий Иванович был искренним и честным сторонником советской власти. Он надеялся на то, что его «соввласть» не потребует жертв персонально у него – инвалида первой мировой, участника революционных событий и гражданской войны, и просчитался. В.И. Волокитин пустил в ход все традиционные приемы крестьянской самозащиты, включая поездку в Москву (где он обращался

прямо во ВЦИК). Но дело все равно закончилось арестом и распродажей его крестьянского хозяйства.

Волокитин так и не понял, что происходящее вокруг – не обычные, исправимые повседневные затруднения, которые можно разрешить, используя личные, семейные связи, помощь «сознательных соседей», хлопоты перед начальством, хождение в Москву, взятки нужным людям. Речь, на самом деле, шла о решении принципиальных вопросов, борьбе не на жизнь, а на смерть. Его привычная реальность сворачивалась, как шагреновая кожа. Василия Ивановича Волокитина «приткнули под ноготь» (выражение односельчанина), а затем и арестовали.

В четвертом параграфе «Аномия. Д. А. Агеев» рассмотрен способ усвоения «социалистической реконструкции деревни» крестьянами, сделавшими выбор в пользу колхоза. В центре анализируемого казуса находится Демид Агеев – заместитель председателя колхоза «Новая жизнь», созданного в старообрядческой деревне.

Очевидцы зафиксировали в деревне Агеево болезненный синдром, своего рода коллективную Obsession, вызванную комплексным воздействием единственного травмирующего фактора – созданием самого колхоза «Новая жизнь». С одной стороны, вступление в колхоз обременяло жителей старообрядческой деревни комплексом вины, порождая тяжелые переживания собственной греховности, падшести, проклятости, богооставленности, интенсивность которых была прямо пропорциональна твердости изначальной веры. Демид Абрамович Агеев не только пьянствовал, развратничал и бездельничал, но и непрерывно молился, т.е. демонстрировал обычную в таких случаях компенсаторную активность.

С другой стороны, организация колхоза создала ситуацию, в которой формы поведения, вписывающиеся в прежний ценностный тезаурус, становились попросту невозможны. Новые нормы прямо попирали прежние ценности. Колхозная дисциплина отменяла «сам себе хозяин» и «никто не выгоняет на работу». Проведение стахановской недели лишало права сходить в церковь и обязывало работать в религиозные праздники. Дostatка не было вовсе. Демонстрируя фиктивность прежних жизненных ориентиров, колхозные практики заодно ослабляли действие норм, на них ориентированных. Внедряемые заново правила и регламенты, не имеющие ценностной поддержки, сохраняли лишь пустую форму императивов, которыми полон «Примерный устав сельскохозяйственной артели».

В заключении подведены итоги диссертационного исследования.

В процессе усвоения последствий кампании по массовой коллективизации сельского хозяйства фактически монолитная в социальном, культурном, ментальном и деятельно-практическом отношении масса крестьян и крестьянок, обладавшая к тому же сходной коллективной памятью, оказалась расколотой по неким заранее не очевидным основаниям. Внутри нее начались спонтанные и хаотические микродвижения, обнаруживавшие незначительные различия в опыте восприятия реальности и тактические расхождения на уровне повседневных практик.

Сделать выбор в пользу колхоза после 1930 г. убеждала вся мощь государственного принуждения, вся официальная пропаганда и агитация. Выполненный ранее анализ повседневного существования русской православной церкви в селах и деревнях Прикамья заставляет предположить, что как институт в рамках дилеммы «колхоз или Христос» она была не в состоянии агитировать «за Христа», так как это означало бы готовность нести уголовную ответственность за «антиколхозную агитацию», конфликт с кураторами из ОГПУ-НКВД и пр. Иначе говоря, тезис о том, что «верующий во Христа не может быть колхозником» не мог выражать (и в действительности не выражал) официальной позиции церкви, но в определенный момент церковь вынуждена была столкнуться с подобной фоновой массовой убежденностью как с эмпирическим фактом.

Процесс обрастания колхоза травмирующими религиозными смыслами протекал стремительно и развивался по двум основным направлениям: реификации (нагнетания чувственных, наглядных образов) и сублимации (обращение к сложным, метафоричным текстам Писания, которые нуждались в специальном толковании, и, соответственно, в квалифицированном толкователе).

Рассмотрев сложившиеся на уровне повседневной жизни сценарии усвоения «социалистической реконструкции деревни», необходимо отметить следующее.

В культурном багаже взрослого, самодеятельного населения сел, деревень, заводов, выселок и хуторов Западного Урала, в их коллективном опыте не обнаружилось ничего, что позволяло бы воспринять происходящее как продолжение нормальной повседневности. Массированная, тотальная интервенция власти деформировала привычный хронотоп, рвала освоенные социальные связи, демонтировала институты малой публичности, отменяла нормативно-ценностные основания жизни крестьян и крестьянок. С самого начала социальная трансформация не вписывалась в религиозную картину мира.

Спонтанно возникшие протестные альянсы мирян и клириков, пытающихся совместно осмыслить и пережить происходившие события, прошли в своем развитии два этапа. На первом (с 1929 по 1935 год) среди целей коллаборации доминировали иллюзорные религиозные сценарии исхода или выхода (апокалиптика и мистика), порождавшие заметные, открытые движения, а также и соответствующие им структуры: «котельниковщина», «егоровщина». Именно поэтому их удавалось оперативно ликвидировать карательным органам.

На втором этапе (1936 и 1937 год) преобладали тайные, private коллаборации рационально-экономического характера («черная касса»), имевшие прагматическую цель: дожидаться великих потрясений. Этот сценарий сохранения осмысленной жизни и привычной повседневности был купирован во время массовых операций 1937 г. Практика крестьянского посибилизма на Западном Урале тоже не имела никаких шансов на успех. Таким образом, в долговременной перспективе ни один из данных сценариев

не мог сохранить или вернуть нормальную, осмысленную повседневность. Центральным явлением деревенской жизни надолго становилась аномия.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы.

Публикации в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК:

1. Казанков, А. И. У «последних времен»: восприятие времени жителями российской провинции в первой половине XX века / А.И. Казанков // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2015. – №.4 (33). – С. 294–317 (1,6 п. л.) (ВАК, Scopus, WoS).
2. Казанков, А.И. «Я фотографировал церкви, попов, железнодорожников...»: повседневная жизнь деревенского маргинала в первой половине XX века / А.И. Казанков // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2016. – №1 (32). – С. 141–148 (0,5 п. л.) (ВАК, Scopus, WoS).
3. Казанков, А. И. Пересуды на завалинке: свои и чужие в повседневной культуре уральской провинции первой трети XX в. / А.И. Казанков // Вестник Вятского государственного университета. – 2017. – №11. – С. 43–53 (0,7 п. л.) (ВАК).
4. Казанков, А.И. Понять повседневность: эвристический потенциал концепции в исследованиях советской эпохи / А.И. Казанков, О.Л. Лейбович // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2017. – № 3. – С. 82–88 (0,4/0,2 п. л.) (ВАК, WoS).
5. Казанков, А.И. Микроистория несостоявшегося апокалипсиса: деревня Подавиха и ее обитатели в августе – декабре 1932 года / А.И. Казанков // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2018. – № 1 (36). – С. 275–310 (2,5 п. л.) (ВАК, Scopus).
6. Казанков, А.И. «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать»: Мемории западноуральских провинциалов о событиях начала XX века / А.И. Казанков // Технологос [Вестник ПНИПУ. Культура. Философия. Право]. – 2019. – № 3. – С. 7–26 (1,3 п. л.) (ВАК, WoS).
7. Казанков, А.И. Агрегатная повседневность сталинской эпохи: к постановке проблемы / А.И. Казанков, О.Л. Лейбович // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2019. – №4. – С. 74–84 (0,7/0,35 п. л.) (ВАК, WoS).
8. Казанков, А.И. Пастыри и паства: конфликты в провинциальных приходах Западного Урала на рубеже 30-х годов XX века / А.И. Казанков // Технологос [Вестник ПНИПУ. Культура. Философия. Право]. – 2020. – №1. – С. 32–46 (1,0 п. л.) (ВАК).
9. Казанков, А.И. Три жизни Николая Агафонова: Трансформация идентичности в эпоху войн и революций / А.И. Казанков, О.Л. Лейбович // Уральский исторический вестник. – 2020. – №4 (69). – С. 109–117 (0,7/0,35 п. л.) (ВАК, Scopus).
10. Казанков, А.И. Жажда чуда: деревенский интеллигент в годы испытаний / А.И. Казанков // Технологос [Вестник ПНИПУ. Культура. Философия. Право]. – 2021. – №1. – С. 15–35 (1,4 п. л.) (ВАК).

11. Казанков, А.И. «Инквизиторская антропология» как генератор исторических нарративов советской эпохи / А.И. Казанков, О.Л. Лейбович // Шаги/Steps. – 2022. – Т. 8. – № 3. – С. 198–214 (1,4/0,7 п. л.) (ВАК, Scopus).
12. Казанков, А.И. История церковного старосты В.И. Волокитина, любившего советскую власть – без взаимности / А.И. Казанков // Технологос. – 2024. – №1. – С. 6–22 (1,4 п. л.) (ВАК К-1).
13. Казанков, А.И. Молчалиники и начальники советской Белоруссии в 1937–1939 гг. / А.И. Казанков // Вестник гуманитарного образования. – 2024. – № 4 (36). – С. 129–131 (0,23 п. л.) (ВАК К-2).
14. Казанков, А.И. В поисках йети (отклик на книгу Сергея Никольского «Советское. Философско-литературный анализ») / А.И. Казанков, О.Л. Лейбович // Человек Научно-популярный иллюстрированный журнал Президиума Российской академии наук. – 2024. – Т. 35. – № 6. – С. 175–185 (0,8/0,4 п. л.) (ВАК К-2, RSCI, Scopus).
15. Казанков, А.И. Управляемое самоуправство: парадоксы повседневной нормативности сталинской эпохи / А.И. Казанков, О.Л. Лейбович // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2025. – № 1. – С. 164–172 (0,6/0,34 п. л.) (ВАК К-1, RSCI, WoS).
16. Казанков, А.И. Созерцающая архаизацию: записка Н.Е. Ончукова о путешествии в Чердынский уезд Пермской губернии в 1923 году / А.И. Казанков // Технологос. – 2025. – № 1. – С. 143–152 (0,8 п. л.) (ВАК К-1).
17. Казанков, А.И. Обретение приватности. О книге Н.Б. Лебиной «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности» (Москва, 2024) / А.И. Казанков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: «Социально-гуманитарные науки». – 2025. – С. 112–115. (0,25 п. л.) (ВАК К-2).

Монографии:

18. Казанков, А.И. Время местное: хроники провинциальной повседневности: монография / А.И. Казанков. – Пермь: Перм. гос. ин-т культуры, 2016. – 163 с. (12 п. л.).
19. Казанков, А.И. Дело «Общества трудового духовенства» // «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. / О.Л. Лейбович, А.А. Колдушко, А.И. Казанков и др. – Москва: РОСПЭН, 2009. – С. 43–67 (20/1,7 п. л.).
20. Казанков, А.И. Репрессии против духовенства в ходе проведения кулацкой операции в Прикамье (1937–1938 гг.) // «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. / О.Л. Лейбович, А.А. Колдушко, А.И. Казанков и др. – Москва: РОСПЭН, 2009. – С. 225–265 (20/2,9 п. л.).
21. Казанков, А.И. Самая тихая контрреволюция, или как Ле Корбюзье развалил СССР // 1956: Незамеченный термидор. Очерки провинциального быта / О.Л. Лейбович, А.А. Колдушко, В.В. Шабалин, С.В. Шевырин, А.В. Чашухин, А.В. Бушмаков, А.И. Казанков, А.С. Кимерлинг. – 2-е изд., доп. – Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, 2012. – С. 194–220 (15,5/1,9 п. л.).

Другие публикации:

22. Казанков, А.И. Портрет террориста в перспективе 1937 г. / А.И. Казанков // История сталинизма: репрессированная российская провинция. Материалы международной научной конференции. Смоленск, 9-11 октября 2009 г. / под ред. Е.В. Кодина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); 2011. – С.171–181 (0,8 п. л.).
23. Казанков, А. И. Деревенский "observer" (фигура доносчика в панораме Большого террора) / А.И. Казанков // История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 18-20 октября 2012 г. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); 2013. – С. 453–463 (0,8 п. л.).
24. Казанков, А.И. Два маргинала: парадоксы провинциальной культуры первой трети XX века / А.И. Казанков // Культура и власть в СССР, 1920-1950-е годы: материалы IX международной научной конференции, Санкт-Петербург, 24-26 октября 2016 г. – М.: РОССПЭН; 2017. – С . 252 – 262 (0,8 п. л.).
25. Казанков, А.И. О.Л. Билингва. Рассуждения о языке эпохи - и не только...: О новой книге Модеста Колерова / А.И. Казанков, О.Л. Лейбович // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник / Ред. серии М.А. Колеров. – Вып. 14: 2018 год / Под ред. М.А. Колерова. – М.: Модест Колеров, 2018. – 589–598(0,8/0,4 п. л.).
26. Казанков, А.И. "Буржуазный индивидуализм пребывал в семьях...». Метафора Дома в историческом нарративе. Рец.: Slezkine Y. The House of Government: a saga of the Russian Revolution. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2017 / А.И. Казанков, О.Л. Лейбович // Историческая экспертиза. – 2017. – № 4. – С. 307–313 (0,4/0,2 п.л.).
27. Казанков, А.И. Колхоз в повседневности западноуральских крестьян 30-х годов XX века / А.И. Казанков // История СССР и России: Архивная революция: научный сборник памяти В.А. Козлова / ред.-сост. О.В. Эдельман. – М.: Модест Колеров, 2025. – С. 186–223 (2,8 п. л.).

Подписано в печать 30.06.2025. Заказ 9/2025
Формат А5. Усл. п. л. 1,86. Гарнитура Times New Roman.

Редакционно-издательский отдел УНИД
Пермского государственного института культуры
614081, Пермь, ул. Плеханова, 68, оф. 116